

## СОДЕРЖАНИЕ

Письма к Макс Броду . . . . .	3
Завешание . . . . .	251
Письмо отцу . . . . .	253
Примечания . . . . .	317

## ПИСЬМА К МАКСУ БРОДУ

[1903 или 1904]<sup>1</sup>

Дорогой Макс,

меня вчера не было на лекции, поэтому мне кажется необходимым написать тебе, чтобы объяснить, почему я не пошел с вами на бал-маскарад, хотя, кажется, и обещал.

Прости, я хотел доставить себе удовольствие и свести вас на один вечер с Пржибрамом<sup>2</sup>, потому что мне представилось, каким острым наблюдателем покажешь себя в этой ситуации ты — ведь ты это умеешь — и как он проявит свою способность к трезвому взгляду на вещи, которая ему свойственна почти во всем, кроме искусства, а все вместе сложится в славную картину.

Но, думая так, я не учел, в какой компании, маленькой компании, ты оказался. На первый посторонний взгляд, она для тебя не благоприятна.

---

<sup>1</sup> Франц Кафка в основном не датировал своих писем, датировка писем в квадратных скобках, как и хронологическое расположение, принадлежат Макс Броду. (*Примеч. ред.*)

<sup>2</sup> Соученик и приятель Кафки Эдвальд Пржибрам, часто упоминаемый в письмах. Некоторыми его чертами явно наделен образ оппонента в «Описании одной борьбы».

Потому что отчасти она от тебя зависит, отчасти самостоятельна. В той мере, в какой она от тебя зависит, она готова вторить тебе, как чуткое эхо в горах. Слушатель бывает сбит с толку. Глаза его только еще пробуют что-то разглядеть впереди, а в это время его бьют по спине. Удовольствие оказывается невелико, особенно если ты недостаточно проворен.

Но если все самостоятельны, это для тебя еще хуже, потому что ты перестаешь из-за них быть собой, оказываешься не на своем месте, сам же себя опровергаешь перед слушателями, чему благоприятствует случай, если друзья последовательны. Дружественная масса помогает только при революциях, когда все действуют разом и без затей, но, если речь идет о маленьком заговоре за столом при скудном освещении, они его сорвут. Дело вот в чем. Ты хочешь разыграть нечто на фоне своей декорации «Утренний пейзаж» и ставишь ее в качестве задника, но твоим друзьям кажется, что для данного момента больше подошло бы «Волчье логово», и они ставят по бокам от тебя в качестве кулис твое же «Волчье логово». Конечно, и то, и другое рисовал ты, зритель это понимает, но какие странные тени на лугу, где у тебя утренний пейзаж, и к тому же омерзительного вида птицы летают над полем. Вот, мне кажется, как обстоит дело. Редко, но все-таки иногда случается (я в этом еще не совсем разобрался), ты говоришь: «У Флобера, понимаешь ли, существенны лишь факты, без всякого сюсюканья». Но в каком ужасном виде я бы тебя представил, если бы при случае изобразил это таким образом. Ты говоришь: «Как прекрасен Вертер». А я говорю: «Но честно сказать, там порядочно всякого сюсюканья». Это замечание смехотворно и неприятно, но я говорю

это как друг, я не желаю тебе ничего плохого, я хочу только показать слушателю твой взгляд на подобные вещи. Ибо часто признаком дружбы считается то, что ты не даешь себе труда додумать до конца, что стоит за словами друга. А слушатель тем временем грустит и чувствует себя утомленным.

Я написал это, потому что мне было бы грустнее, если б ты мне не простил, что я провел вечер не с тобой, чем если ты не простишь мне это письмо.

Всего самого доброго.

Твой *Франц К.*

Подожди, не откладывай это письмо, я перечел его еще раз и вижу, что оно не совсем ясно. Я хотел написать: то, что кажется тебе таким неслыханным счастьем, а именно возможность позволить себе минуту усталости, расслабленности и при этом допустить, чтобы единомышленник повел тебя туда, куда кому-то хотелось, без всяких усилий с твоей стороны, именно это проявляет тебя в данной типичной истории — вот что я имел в виду в случае с П. — не совсем таким, как мне хотелось бы.

Теперь все.

[Прага, 28 августа (ск. 1904) ск.]

Легко быть веселым, когда лето только начинается. Сердце в груди стучит, дела идут сносно, и с будущим ты в ладу. Ждешь каких-нибудь восточных чудес, а потом с забавным поклоном и в косноязычных выражениях от них же отказываешься, эта живая игра бывает приятной и волнующей. Постель в беспорядке, ты сидишь на кровати и смотришь на часы. Стрелки приближаются к полудню. Но нам

рисуетса вечер, в приглушенных тонах, вокруг широкие просторы. И мы потираем руки, радуясь, что у нас такая длинная, такая прекрасная тень, которая бывает по вечерам. Мы украшаем себя, надеясь в глубине души, что украшение станет частью нашего естества. А на вопрос о жизненных планах мы весной отвечаем обычно широким жестом руки, но тут же ее опускаем, давая понять, до чего смешно и не нужно объяснять то, что само собой разумеется.

И если даже нас ждет разочарование, это, конечно, может нас огорчить, но чувство все-таки останется такое, будто исполнилась наша каждодневная молитва и нашей жизни как бы милостиво позволено идти своим чередом.

Но разочарование нам не грозит. Это время года, у которого есть лишь конец, но нет начала, приводит нас в состояние, такое необычное для нас и такое естественное, что оно могло бы оказаться смертельным.

Вольный ветер буквально несет нас куда хочет, а мы, уносимые этим воздушным потоком, не без смешных ужимок хватаемся за голову или, вцепившись в колени кончиками тонких пальцев, что-то бормочем вслух в надежде успокоить себя. Если обычно у нас, в общем-то, хватает такта, чтобы ничего о себе не выяснять, теперь мы настолько ослабели, что начинаем искать ясности — разумеется, как будто просто так, в шутку, как старательно ловят маленьких детей, которые убегают от нас медленными маленькими шажками. Мы лезем куда-то, как кроты, и вот, совершенно черные, с бархатной шерсткой, вылезаем из своих осыпавшихся песчаных нор, высунув вверх свои бедные красные лапки, вызывающие нежную жалость.

Как-то во время прогулки моя собака поймала крота, который хотел перебежать дорогу. Она то на-скакивала на него, то снова отпускала, потому что она еще молодая и нервная. Вначале это меня забавляло, особенно нравилось мне возбуждение крота, который отчаянно и безнадежно искал, куда бы зарыться на утоптанной дороге. Но вдруг, когда собака опять протянула к нему лапу и ударила, он закричал. Он закричал: кс, ксс. И мне показалось... Нет, мне ничего не показалось. Просто что-то случилось с головой, она в тот день была у меня такой тяжелой, что вечером, как я с удивлением заметил, подбородок буквально прирос к груди. Но на следующий день я уже опять держал свою голову вполне прямо. А еще на другой день одна девочка надела белое платье и потом влюбилась в меня. Бедняжка очень от этого страдала, и утешить ее мне не удалось, такой трудный оказался случай. В один из следующих дней я проснулся после краткого послеполуденного сна, открыл глаза, еще не вполне уверенный в своем существовании, и услышал, как моя мать обычным тоном спрашивает с балкона: «Что вы делаете?» И какая-то женщина ответила из сада: «Я полдничаю на траве». Тут я удивился, как стойко люди умеют переносить жизнь. В один из следующих дней я с болезненным напряжением радовался волнениям сумрачного дня. Потом была одна пустая неделя, а может, две или еще больше. Потом я влюбился в одну женщину. Потом в трактире были танцы, а я на них не пошел. Потом я тосковал и так поглупел, что спотыкался на полевых дорогах, которые здесь довольно круты. А однажды прочел в дневниках Байрона вот какое место (я изложу его приблизительно, так как книга уже упакована): «Неделю я не

выходил из дома. Три дня я по четыре часа ежедневно занимаюсь боксом с преподавателем фехтования в библиотеке при открытых окнах, чтобы успокоиться душой». А потом... лето кончилось, и я обнаружил, что оно было холодное, что пришла пора отвечать на летние письма, что мое перо немного проскальзывает и что лучше его поэтому отложить.

Твой Франц К.

[1904]

Я было удивился, что ты не написал мне о Тонио Крёгере. Но потом сказал себе так: «Он ведь знает, как мне хочется получить от него письмо, и о Тонио Крёгере что-то надо сказать. Так что он мне, видимо, написал, но мало ли что могло случиться — ливень, землетрясение, письмо затерялось». И тут же сам на себя рассердился за то, что подумал так, потому что писать настроения не было, а теперь приходилось отвечать на письмо, которого ты, может быть, не писал, и, чертыхаясь, я начал так:

Получив твое письмо, я не знал, как поступить, пойти ли к тебе лично или послать цветы. Но не стал делать ни того, ни другого, отчасти из-за лени, отчасти потому, что боялся натворить глупостей, к тому же я немного не в духе и мрачен, как дождливый день.

Но твое письмо подействовало на меня благотворно. Я ведь считаю высокомерным, когда кто-то излагает передо мной нечто вроде истины. Значит, он меня поучает, унижает, ждет, что я возьму на себя труд его оспаривать, сам при этом ничем не рискуя, потому что свою истину он ведь считает неопровержимой. Когда излагаешь перед кем-нибудь свои предрассудки, это может звучать церемонно, безрас-

судно и трогательно, но еще трогательней, когда начинаешь их обосновывать, причем обосновываешь опять же другими предрассудками.

Ты наверняка отметил в своем письме и сходство с твоим рассказом «Экскурсия в темно-красное»<sup>1</sup>. Но я о таком широком сходстве подумал еще раньше, до того как снова прочитал «Тонио Крёгера». Ведь новизна «Тонио Крёгера» не в том, что он открыл это противопоставление (слава Богу, что мне теперь не надо об этом противопоставлении думать, в нем есть что-то ужасное), а в странно-плодотворной (поэт в «Экскурсии») влюбленности в противоположность.

Если мое предположение, что ты написал на эту тему, верно, тогда я не понимаю, почему твое письмо в целом такое взвинченное, как будто задыхающееся. (Может, ты мне просто таким запомнился в воскресенье утром.) Прошу тебя, дай себе немного покоя.

Да, да, хорошо, что и это письмо затеряется.

Твой *Франц К.*

За два дня я все позабыл.

[Прага], 12.2.1907

Дорогой Макс,

хочется написать тебе прежде, чем я лягу спать; еще только четыре часа.

Вчера я прочел «Современность»<sup>2</sup>, правда, в неспокойной обстановке, потому что находился в ком-

---

<sup>1</sup> Рассказ «Экскурсия в темно-красное» был опубликован в 1909 г. в Берлине.

<sup>2</sup> Я напечатал в берлинском еженедельнике «Современность» (09.02.1907) статью, где воздал должное стилистическому мастерству Кафки, который тогда еще ничего не опубликовал.

пани, а напечатанное в «Современности» должно было быть сказано на ухо.

Что ж, это карнавал, прямо-таки карнавал, но приятнейший... Ладно, будем считать, что я этой зимой сделал некое танцевальное па.

Особенно мне было приятно, что мало кто мог понять, почему именно в этом месте оказалось необходимо упомянуть мое имя. Ведь тогда читателю нужно было бы вернуться снова к первому абзацу и обратить внимание на место, где говорится о счастье фразы. Тогда бы он обнаружил: группа имен, завершаемая именем Майринка (как будто свернулся клубком еж), не могла возникнуть в начале фразы, если хочешь, чтобы и следующие дышали. Значит, вставленное сюда имя с открытой гласной в конце спасает этим словам жизнь. Моя заслуга тут невелика.

Печально лишь — я знаю, ты этого не хотел, — что теперь, когда я с чем-либо выступлю, это будет выглядеть непристойно, ведь нежность первого выступления так уязвима. И никогда мне не сравняться по силе действия с тем, что сделал для моего имени ты своими словами.

Впрочем, сегодня об этом всерьез говорить не приходится, я скорее мог бы утвердиться вне круга, в котором стал известен сейчас, ведь я славное дитя и любитель географии. На Германию мне, по-моему, особенно рассчитывать не приходится. Многие ли здесь читают критические статьи, не ослабляя внимания до последней фразы? Какая тут известность. Другое дело — немцы за границей, скажем, в балтийских областях, а еще лучше в Америке или даже в германских колониях, ведь где-нибудь в глуши немец читает свой журнал от корки до корки. Так что

центрами моей известности окажутся Дар-эс-Салам, Уджиджи, Виндхук. Но чтобы зря не волновать этих людей с таким живым интересом (прекрасно: фермеры, солдаты), тебе следовало бы написать в скобках: «Эти имена стоит забыть».

Целую тебя, славай поскорей экзамен.

Твой *Франц*

[Триш, середина августа 1907]

Мой дорогой Макс,

когда вчера вечером я вернулся домой с прогулки (было весело, весело), твое письмо уже ожидало меня и привело в замешательство, хоть я и устал. Ведь я привык к нерешительности, ни к чему другому я так не привык, но, если я для чего-то потребовался, я уже лечу, совершенно без сил, одновременно желая и сомневаясь в тысяче мелочей; против решимости мира мне не устоять. Поэтому я даже не буду пытаться переубедить тебя.

У нас с тобой совершенно разные обстоятельства, так что не имеет никакого значения, если, дойдя до слов «решил о себе не думать», я не смог дальше читать от страха, как будто это было сообщение с поля битвы. Но, как всегда, меня и в этом случае скоро успокоила мысль, как бесконечно много, черт возьми, в каждой вещи и недостатков, и преимуществ.

Я подумал: тебе нужна бурная деятельность, в этом смысле твои потребности мне ясны, хотя и непонятны; уже год, как тебе уже недостаточно просто гулять по лесу, и разве не ясно, в конце концов, что за год

работы в городском суде ты найдешь свое место в литературе, и все остальное станет неважно.

Правда, я-то побежал бы в Комотау как сумасшедший, правда, мне-то никакая деятельность не нужна, тем более что я к ней не способен, и если меня тоже, допустим, перестанет удовлетворять лес, то я — это ясно — за год работы в суде ничего не сделал.

И потом, когда втянешься в дело, сил уже не останется, в часы работы — а их ведь всего шесть — я бы только без конца позорился, это тебе, судя по твоему письму, все теперь кажется возможным, если ты считаешь, что я способен на что-то подобное!

Другое дело — служба, а вечером утешение. Да, если бы утешения было уже достаточно для счастья и не требовалось бы еще и быть немножечко счастливым от природы.

Нет, если до октября у меня не появится более радужных перспектив, я закончу курс в Торговой академии и вдобавок к французскому и английскому выучу еще и испанский. Хорошо, если б ты захотел составить мне компанию; твое превосходство в учебе я бы компенсировал нетерпением; мой дядя нашел бы нам должность в Испании, или бы мы поехали в Южную Америку, или на Азорские острова, на Мадейру.

А пока я еще до 25 августа могу жить здесь. Я много езжу на мотоцикле, много купаюсь, подолгу лежу голый в траве на берегу пруда, до полуночи я в парке с девушкой, которая докучает мне своей влюбленностью, я уже ворошил на лугу сено, соорудил карусель, помогал после грозы деревьям, пас коров и коз, а вечером пригонял их домой, много играл

в бильярд, совершал далекие прогулки, пил много пива, побывал уже и в храме. Но большую часть времени — а я здесь шесть дней — я провел с двумя молоденькими девушками, студентками, очень смышленными, очень социал-демократичными, им приходилось прямо-таки стискивать зубы, чтобы не изрекать по любому поводу какой-нибудь лозунг, какой-нибудь принцип. Одну зовут А., другую Х. В., она маленькая, щечки у нее красные-красные; близорука, и это сказывается не только в милом движении, каким она водружает пенсне на нос — кончик его поистине прелестно как бы составлен из крошечных плоскостей; сегодня ночью мне снились ее короткие толстые ноги, такими вот окольными путями я познаю девичью красоту и влюбляюсь. Завтра я хочу прочесть им вслух что-нибудь из «Экспериментов»<sup>1</sup>, это единственная книга, кроме Стендаля и «Опалов»<sup>2</sup>, которую я у себя держу.

Да, были бы у меня «Аметисты», я бы списал для тебя стихи, но они у меня дома, в ящике с книгами, а ключ от него я взял с собой, чтобы никто не обнаружил сберкнижку, о которой дома не знают и которая важна для моего положения в семье. Так что если у тебя до 25 августа не найдется времени, я пришлю тебе ключ.

А теперь мне остается только поблагодарить тебя, мой бедный мальчик, за усилия, которые ты прило-

---

<sup>1</sup> «Эксперименты» — один из первых сборников моих рассказов (Штутгарт; 1907). В одном из персонажей (Карус в рассказе «Остров Карина») там изображен Кафка, каким он тогда мне представлялся.

<sup>2</sup> «Опалы» (1907) и «Аметист» (1906) — журналы, которые издавал Франц Блай.

жил, чтобы убедить издателя в достоинствах моего рисунка<sup>1</sup>.

Жарко, а после обеда я иду в лес на танцы.

Передавай от меня привет своей семье.

Твой *Франц*

[Далее следуют переписанные стихи Макса Брода]<sup>2</sup>.

[Открытка, Прага, штемпель 28.VIII.1907]

Мой дорогой Макс,

так нехорошо, неправильно, что ты мне не пишешь, как дела в Комотау<sup>3</sup>, но раз ты меня спрашиваешь, как дела у меня, как я провел лето... Вид Рудных гор, наверно, красив, не говоря уже о зеленой скатерти на столе, и я бы рад тебя навестить, если бы поездка стоила не так дорого.

Что тебе встретился человек, у которого почерк, как у меня когда-то, вполне может быть, только теперь я пишу по-другому и, лишь когда пишу тебе, вспоминаю о былом движении моих букв. Не придешь ли ты в воскресенье? Я был бы рад.

Твой *Франц К.*

---

<sup>1</sup> Кафка сделал набросок рисунка для моей книги «Путь влюбленного» (Штутгарт, 1907). Первоначально книгу предполагалось назвать «Эрот».

<sup>2</sup> Несколько стихотворений, которые Кафка нашел в каком-то другом журнале и послал мне вместе с письмом в качестве «компенсации».

<sup>3</sup> *Комотау* у подножия Рудных гор, где я одно время служил в окружном финансовом управлении. «Зеленая скатерть на столе» — об этих же местах.

[Прага], 22.9.1907

Мой дорогой Макс,  
такие вот дела. Другие люди то и дело принимают решения, а потом вкушают их плоды. Я же принимаю решения все время, как боксер, но при этом не боксирую. Да, я остаюсь в Праге. Вероятно, скоро я получу здесь должность (ничего особенного) и, лишь чтобы не раздражать провидение, у которого много своих дел, не написал тебе об этом конкретнее и не делаю этого сейчас.

Рад за тебя.

Твой *Франц*

[Открытка, Прага, штемпель 26.X.1907]

Дорогой Макс,  
я могу приехать не раньше половины одиннадцатого или в одиннадцать, потому что тут хотят увидеть мое тело<sup>1</sup>. Поскольку теперь почти нет сомнения, что мне суждено быть несчастным, в несчастье смеяться над самим собой, то на тело мое смотрят лишь ради бескорыстнейшего удовольствия.

Твой *Франц*

[Прага, вероятно, май 1908]

Теперь у тебя, дорогой Макс, две книги и один камешек. Я всегда старался подыскать к твоему дню рождения что-нибудь такое нейтральное, что нельзя бы уже ни изменить, ни потерять, ни испортить, ни

---

<sup>1</sup> Обычное медицинское обследование перед окончательным зачислением на службу.

забыть. Думал я над этим не один месяц — и каждый раз не мог придумать ничего другого, кроме как опять прислать тебе книгу. Но с книгами ведь беда, они, с одной стороны, нейтральны, а с другой — интерес к ним потом опять возрастает, и я тянусь к чему-то нейтральному, верный лишь убеждению, вообще-то не такому для меня важному, а в конце концов обнаруживаю в руках у себя книгу прямо-таки жгуче интересную. Однажды я даже нарочно забыл про твой день рождения, это было лучше, чем посылать книгу, но все-таки нехорошо. Поэтому теперь я посылаю тебе камешек и буду присылать еще, покуда мы оба живы. Положишь его в карман, он будет тебе защитой, положишь в ящик стола, тоже на что-нибудь стодится, а можешь его и выбросить — это будет лучше всего. Ведь ты знаешь, Макс, моя любовь к тебе больше меня самого, и скорее я живу в ней, чем она во мне, ей не так уж хорошо в моем ненадежном существе, так вот — в камушке она укроется, как в скале, даже если он окажется всего лишь в расщелине мостовой на Шаленгассе<sup>1</sup>. Эта любовь с давних пор не раз спасала меня, чаще, нежели ты думаешь, и именно сейчас, когда я меньше, чем когда бы то ни было, способен в себе разобраться, лишь в полусне чувствую себя в полном сознании, это лишь кажется легко, и то лишь пока — ведь внутренности у меня словно почернели, — вот тут как раз и хорошо бросить в мир такой камень, чтобы надежное отделилось от ненадежного. Что по сравнению с этим книги! Книга начинает казаться тебе скучной и уже не перестает, или ее разорвет твой ребенок, или, как книга Вальзера, она распадется, когда ты ее

---

<sup>1</sup> Переулок, где я тогда жил.